



Богданова О. В. Антипасхальный рассказ Ивана Бунина «Косцы» (структура, система образов, «русская идея») / О. В. Богданова, Лю Миньцзе // Научный диалог. — 2022. — Т. 11. — № 7. — С. 266—283. — DOI: 10.24224/2227-1295-2022-11-7-266-283.

Bogdanova, O. V., Liu Minjie (2022). Anti-Easter Story by Ivan Bunin “Mowers” (structure, system of Images, “Russian Idea”). *Nauchnyi dialog*, 11(7): 266-283. DOI: 10.24224/2227-1295-2022-11-7-266-283. (In Russ.).



Журнал включен в Перечень ВАК

DOI: 10.24224/2227-1295-2022-11-7-266-283

Антипасхальный рассказ Ивана Бунина «Косцы» (структура, система образов, «русская идея»)

Богданова Ольга Владимировна¹

orcid.org/0000-0001-6007-7657,

доктор филологических наук,

профессор,

Научно-исследовательская лаборатория
перспективных проектов в образовании

olgabogdanova03@mail.ru

Лю Миньцзе²

orcid.org/0000-0002-1337-4154

аспирант,

кафедра русского языка и литературы

1048795610@qq.com

¹ Российский государственный
педагогический университет
им. А. И. Герцена
(Санкт-Петербург, Россия)

² Дальневосточный
федеральный университет
(Владивосток, Россия)

Anti-Easter Story by Ivan Bunin “Mowers” (structure, system of Images, “Russian Idea”)

Olga V. Bogdanova¹

orcid.org/0000-0001-6007-7657,

Doctor of Philology, Professor,

Research Laboratory for Advanced

Projects in Education

olgabogdanova03@mail.ru

Liu Minjie²

orcid.org/0000-0002-1337-4154

Post-graduate Student,

Department of Russian Language

and Literature

1048795610@qq.com

¹ The Herzen State Pedagogical
University of Russia
(St. Petersburg, Russia)

² Far Eastern Federal University
(Vladivostok, Russia)

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Аннотация:

Предложена новая интерпретация рассказа И. Бунина «Косцы» (1921). Если традиционно «короткий» рассказ Бунина рассматривается исследователями как реализация темы Родины, любви к утраченному раю на Земле, восхищение и прославление русского народа, то в работе выявляются иные, по сути противоположные интенции бунинского текста. Показано, что подведение итогов первого года эмиграции формировало в сознании Бунина сложно-противоречивые мысли о России и ее народе. Воссоздавая в рассказе, кажется, незамысловатое воспоминание о встрече с косцами и выражая восторг по поводу их щемящей сердце песни, на самом деле, как показано в работе, Бунин строит сложную многоярусную повествовательную систему, в которой внешний пласт нарратива (давняя встреча с косцами) теснится сегодняшней рефлексией изгнанников-эмигрантов (Париж, 1921) и символизируется фольклоризированными представлениями о сказочной Руси и ее первобытной мифологии. Показано, что интенция автора-рассказчика ориентирована не на восхищение прошлым и утраченным (традиционный ракурс), а на неприятие и отказ от прежней сказки, которой, по Бунину 1920-х, наступил конец. Переосмыслены центральные мотивы рассказа, прослежена семантическая перекодировка титульного образа косцов.

Ключевые слова:

И. А. Бунин; *Косцы*; композиционная структура; образная система; затекст; подтекст; антипасхальность.

ORIGINAL ARTICLES

Abstract:

A new interpretation of I. Bunin's story "Mowers" (1921) is proposed. If Bunin's traditionally "short" story is considered by researchers as a realization of the theme of the Motherland, love for the lost paradise on Earth, admiration and glorification of the Russian people, the work reveals other, essentially opposite intentions of Bunin's text. It is shown that summing up the results of the first year of emigration formed complex and contradictory thoughts about Russia and its people in Bunin's mind. It is shown that while recreating in the story what seems to be an uncomplicated memory of the meeting with the mowers and expressing delight over their heart-wrenching song, in fact Bunin is building a complex multi-tiered narrative system. It is noted that in this system, the outer layer of the narrative (a long-standing meeting with the mowers) is crowded by today's reflection of exiled emigrants (Paris, 1921) and is symbolized by folklore ideas about fairy-tale Russia and its primitive mythology. It is proved that the intention of the author-narrator is focused not on admiration for the past and the lost (traditional perspective), but on antagonism and rejection of the old fairy tale, which, according to Bunin of the 1920s, has come to an end. The central motives of the story are rethought, the semantic recoding of the title image of the mowers is traced.

Key words:

I. A. Bunin; *Mowers*; compositional structure; figurative system; overtext and subtext; anti-Easterness.

Антипасхальный рассказ Ивана Бунина «Косцы» (структура, система образов, «русская идея»)

© Богданова О. В., Лю Миньцзе, 2022

1. Введение = Introduction

Рассказ Ивана Бунина «Косцы» впервые был опубликован в альманахе «Медный всадник» (Берлин, 1923, кн. I). Под текстом рассказа стояло указание: «Париж, 1921» [Бунин, 1966, т. V, с. 72]. В комментарии к собранию сочинений И. А. Бунина уточняется: «Рукопись датирована: “27—31 октября — 9—13 ноября 1921 года” (ЦГАЛИ)» [Бунин, 1966, т. V, с. 515].

Между тем уже на этом уровне начинаются «разночтения». Дело в том, что в «Дневниках» писателя за 1921 год значится другая дата: «17 ноября (н. ст.). <...> Нынче неожиданно начал “Косцов”, хотя, пописав, после обеда, вдруг опять потух, опять показалось, что и это ничтожно, слабо, что не скажешь того, что чувствуешь, и выйдет патока, да еще не в меру интимная...» [Бунин, 2006, с. 98]. То есть рассказ начат не в октябре, а в ноябре, причем начат и отложен. И хотя данное уточнение кажется мало-существенным, но оно открывает тот ряд неточностей, которые возникают при обращении к тексту анализируемого рассказа.

Именно это обстоятельство заставляет обратить более пристальное внимание на знакомый бунинский текст и разобраться, какие размышления подталкивали Бунина-художника к созданию далеко не однозначного рассказа «Косцы».

Apropos: актуальность обращения к хрестоматийному тексту Бунина тем более возрастает, если вспомнить, что рассказ «Косцы» включен в школьную программу и изучается в средних классах общеобразовательных школ.

2. Материал, методы, обзор = Material, Methods, Review

Как правило, интерпретируя рассказ Бунина «Косцы», критики исходно формируют семантически устойчивую матричную модель и единодушно говорят о доминанте ностальгических мотивов, связанных с темой родины («...необычайная красота песни связана с утраченной родиной» [Пономарев, 2016, с. 45], «плач по утраченной России» [Есаулов, 2011, с. 404]), с воспоминаниями о фольклорно-былинной России («выражение русского» [Климова, 2000, с. 13]), памятно возрождаемой коллективным сознанием эмиграции «первой волны». Более того, ряд исследователей

считает возможным квалифицировать рассказ «Косцы» как рассказ *психальный*, в котором словно бы получили отражение идеи Бунина о будущем неизбежном воскресении России [Есаулов, 2011; Урюпин, 2015; Захаров, 1994; и др.].

Так, авторитетный московский исследователь И. А. Есаулов констатирует: «Тот “праздник возрождения” смысла, о котором писал Бахтин, в данном случае <в рассказе “Косцы”> в самом буквальном смысле оказывается *воскресением* утраченной России в сознании читателя, а значит, ее действительным воскресением, но и воскресением самого читателя, поскольку в Слове песни — душа России» (выделено автором. — О. Б., М. Л.) [Есаулов, 2011, с. 406—407].

Исследователя поддерживает И. С. Урюпин, который соглашается: «... бунинский плач о Родине в рассказе “Косцы” — не порыв отчаяния и не надгробное рыдание, а художественное воскрешение России и ее сохранение в вечности, ибо, по утверждению лирического героя рассказа, “не плачут сладко и не поют своих скорбей те, которым и впрямь нет нигде ни пути, ни дороги” <...> Ведь даже самый пронзительный плач оказывается не отрицанием, а утверждением жизни, и, “оплакивая себя”, автор знает, что “все-таки нет ему подлинной разлуки с нею, с родиной, что, куда бы ни забросила его доля, все будет над ним родное небо, а вокруг — беспредельная родная Русь”» [Урюпин, 2015, с. 222]. По И. С. Урюпину, образ косцов Бунина и их восхищающее автора пение «знаменуют грядущее воскресение и преображение России» [Урюпин, 2015, с. 222].

Исследователь В. А. Зубков добавляет: «В “несравненной легкости, естественности, которая была свойственна в песне только русскому”, автор открывает национальный характер с его отчаянностью, “всепрощающим великодушием”, надеждой на “чье-то заступничество” и радостью “при всей ее будто бы безнадежности”» [Зубков, 2017, с. 79]. По мысли критика, в рассказе Бунина «возникает светлый, духоподъемный мотив красоты бытия, которую и бессознательно, и осознанно ощущает русский человек, неразрывно слитый с тем, что собрано в коротком слове “родина”, с ее землей, небом и песнями, несущими в своем очаровании всю широту и волю русской души, мотив радости от чувства кровного родства с соотечественниками, от общего счастья жить в богоспасаемом русском доме» [Зубков, 2017, с. 80].

Бунинский текст действительно может быть отчасти интерпретирован в подобном ключе. Тем более что сам Бунин позже в заметках «Происхождение моих рассказов» признавался: «Когда мы с моим покойным братом Юлием возвращались из Саратова на волжском пароходе в Москву и стояли у Казани, грузчики, чем-то нагружавшие наш пароход, так восхитительно сильно и дружно пели, что мы с братом были в полном восторге...

и все говорили: “Так... могут петь свободно, легко, всем существом только русские люди”. Потом мы слышали, едучи на беговых дрожках с племянником и братом Юлием по большой дороге ... как в березовом лесу рядом с большой дорогой пели косцы — с такой же свободой, легкостью и всем существом...” [Бунин, 1966, т. IX, с. 370].

Опираясь на приведенные слова, действительно можно подумать, что Бунин создавал рассказ-воспоминание, пронизанный чувством щемящей любви к покинутой родине и осененный мыслью о могучих силах, дарованных России и гарантирующих ее «пасхальное» (вслед за революционным распятием) воскресение.

Однако, если вновь обратиться к писательским «Дневникам», можно заметить, что непосредственно в то время, когда Бунин приступил к работе над рассказом, его обуревали совершенно иные мысли. Так, под календарными «27 Окт. — 9 Ноября 1921 года», то есть фактически под датами рождения рассказа, в дневнике значится: «Все дни, как и раньше часто и особенно эти последн. проклятые годы, м.б., уже погубившие меня, — мучения, порою отчаяние — бесплодные поиски в воображении, попытки выдумать рассказ, — хотя зачем это? — и попытки пренебречь этим, а сделать что-то новое, давным-давно желанное, и ни на что не хватает смелости, что ли, умения, силы (а м.б., и законных художеств. оснований?) — начать книгу, о которой мечтал Флобер, “Книгу ни о чем”, без всякой внешней связи где бы излить свою душу, рассказать свою жизнь, то, что довелось видеть в этом мире, чувствовать, думать, любить, ненавидеть» [Бунин, 2006, с. 198]. И далее: «Дни все чудесные, солнечные, хотя уже оч. холодные, куда-то зовущие, а все сию безвыходно дома» [Бунин, 2006, с. 198].

Иными словами, в написанных позднее заметках «Происхождение моих рассказов» Бунин упоминает только о благостно-восторженных — исходно «первичных» — впечатлениях, получивших отражение в рассказе «Косцы», но умалчивает о чувствах «вторичных», о том мучительном настроении, которое тяготело над ним в эмигрантско-парижскую пору, в период работы над текстом. Противоречивые антиномии: «попытки выдумать рассказ» и «попытки пренебречь этим», «излить свою душу» — «хотя зачем это?», «солнечные» дни, но «уже оч. холодные», «куда-то зовущие», а <я> [он] «все сию безвыходно дома» — не могли не сказаться на атмосфере (= стилистике и поэтике) рассказа, не могли не наложить — антиномический — отпечаток на текст создаваемого им рассказа, особым образом кристаллизовать впечатления о прошедшем и раздумья о настоящем.

В попытке понять содержательно-смысловой план рассказа Бунина следует обратить внимание и на тот особенный факт, что в «Происхождении моих рассказов» в небольшом фрагменте о «Косцах» дважды звучит

имя брата Бунина — Юлия, которое сопровождает маркирующий эпитет: «Когда мы с моим *покойным* братом Юлием возвращались из Саратова на волжском пароходе...» Факт присутствия брата рядом с Буниным акцентирован в немногих (их всего 12) строках дважды, что невольно фиксирует на себе внимание. Напомним, что горячо любимый старший брат прозаика Юлий Алексеевич, оказавший весьма значительное влияние на формирование личности младшего брата, умер в Москве как раз в июле 1921 года. И тогда становится понятным, почему имя Юлия звучит в «Происхождении...» дважды — приоткрывается очевидность (и одновременно «тайнопись»), что рассказ «Косцы» не только непосредственно связан с воспоминанием о брате Юлии, но и с памятью о нем, хотя и без эксплицированной в перитексте адресации. Другими словами, рассказ «Косцы» латентно носит *поминальный* характер, накладывающий отпечаток на поэтику, стилистику, образно-мотивные и символические ряды текста. Уже только поэтому констатировать «пасхальный» пафос рассказа «Косцы» вряд ли допустимо — непосредственное обращение к тексту позволит скорректировать традиционно предлагаемые критикой интерпретации «Косцов».

3. Результаты и обсуждение = Results and Discussion

3.1. Новые ракурсы восприятия бунинской наррации

Прежде всего обращает на себя внимание название рассказа — «Косцы». Во-первых, оно ретушируется самим Буниным, указавшим на *два* визуальных «источника» — грузчиков на пароходе и сельских косцов. Во-вторых, весь текст рассказа построен исключительно вокруг песни, а не образа крестьян-батраков. То есть было бы логичным назвать рассказ «Песня» (или нечто подобное), а не «Косцы». И это предположение заставляет задуматься над сущностно-поэтическим смыслом заглавия рассказа и его семантико-смысловым контентом.

С одной стороны, название «Косцы», несомненно, более поэтично, чем, например, возможные «Грузчики». С другой стороны, очевидно, что образ косцов был более ярким у автора, поскольку, как сообщает повествователь, он встречался с косцами не единожды, а во время одной из таких встреч даже вступил с ними в общение (как минимум, приглашение к вечернему «столу»). Но вполне допустимо и то, что образ косцов позволял Бунину затекстово (на личностном уровне) актуализировать память о родном усадьбном мире (см. подробнее [Богданова, 2019, с. 233—254]) и покойном брате, но и (в плане надличностном) придать заглавному образу семантически сложный, *неоднозначный* характер.

Действительно, образ косцов примечателен. В титульном образе аккумулированы наиболее яркие смысловые интенции рассказа, более того —

парадоксы и противоречия, художественная сущность которых проясняется не сразу.

Прежде всего возникает вопрос, почему Бунин делает своих героев «не нашими»: не *нашими* орловцами, а не-*нашими* рязанцами. Притяжательное местоимение «наш» четырежды звучит в пяти строках, отчетливо формируя некую (на первый взгляд) неясную оппозицию: «Они <косцы> были “дальние”, рязанские. Они небольшой артелью проходили по *нашим*, орловским, местам, помогая *нашим* сенокосам и подвигаясь на низы, на заработки во время рабочей поры в степях, еще более плодородных, чем *наши*. <...> Они были как-то стариннее и добротнее, чем *наши*, — в обычае, в повадке, в языке...» (выделено нами. — О. Б., Л. М.) [Бунин, 1966, т. V, с. 69].

Внешний облик косцов-рязанцев «другой»: они «опрятней и красивей одеждой, своими мягкими кожаными бахилками, белыми, ладно увязанными онучами, чистыми портками и рубашами с красными, кумачовыми воротами и такими же ластовицами» [Бунин, 1966, т. V, с. 69].

Противопоставление «наши ↔ не-наши» объяснено вскользь, но не мотивировано, хотя настойчиво подчеркнуто и констатировано.

Возникает следующий вопрос: почему героями рассказа Бунина не стали «наши», то есть орловцы? Зачем прозаику понадобилось педалировать эпитет «не-наши» и многократно акцентировать намечаемую антиномию? Тем более что и тех, и других Бунин аффилирует как представителей самой «серединной», «исконной», то есть центральной России.

На наш взгляд, локальная привязанность героев-косцов к реальной местности была для Бунина на самом деле малосущественна. Однако *сдвоенный* топос открывал возможность актуализировать концептуально значимую для писателя-эмигранта антонимическую пару: «наши ↔ не наши», за противостоянием которых невольно контурировался ментальный концепт эмигрантского сознания: «наши ↔ не наши». В Париже 1921 года, через год после эмиграции из России, означенная бытийная антиномия обретала двойной смысл и устанавливала в рассказе (по сути сразу) двойственный хронотоп «тогда» и «теперь», хронотоп не только прошлого, но и настоящего. Непринципиальный в плане означивания «серединной» местности (и Рязань, и Орел — центральная часть России), *парный* принцип «наши — не-наши» позволял Бунину исходно наметить многоуровневость восприятия текста. Еще не развернув наррацию, писатель дробил хронотоп на разноплановые слагаемые, привнося еще не ощутимый затекст и подсказывая наличие подтекста.

Более того, год пребывания в эмиграции и личные обстоятельства (смерть брата в *ненашей* России) провоцировали Бунина-писателя к подведению некоторых итогов, к философическому осмыслению прошедшего и грядущего. Потому суммарный хронотоп рассказа «Косцы» дополняется

еще одной константой — вечность («давно», «бесконечно давно», «вовсеки», «вечная тишина» и др.), формируя философскую триаду мироосмысления: тогда → теперь → всегда, смыкая реальность *настоящего* с воспоминаниями о *прошлом* и углубляясь в осознание *вечности* устоев национальной жизни. Былая знакомая «вечность» родины-России в хронотопе рассказа Бунина облачается в очертания фольклорных мотивов и образов, сказки и мифа. Косцы (не грузчики) с их народно-грустной шемящей песней органично встраиваются в атмосферу формируемого национального мирозобраза.

Исследователи правы, когда говорят о том, что Бунин изначально создает образ благодатной и счастливой России. Достаточно вспомнить зачин рассказа:

«Они косили и пели, и весь березовый лес, еще не утративший густоты и свежести, еще полный цветов и запахов, звучно откликался им...» [Бунин, 1966, т. V, с. 68].

«Кругом нас были поля, глушь срединной, исконной России...» [Бунин, 1966, т. V, с. 68].

«Было предвечернее время июньского дня. Старая большая дорога, заросшая кудрявой муравой, изрезанная заглохшими колеями, следами давней жизни наших отцов и дедов, уходила перед нами в бесконечную русскую даль...» [Бунин, 1966, т. V, с. 68].

Более того, прав И. А. Есаулов, когда указывает на библейские слагаемые изображаемой картины — «по вере его» [Есаулов, 2011, с. 405].

Действительно, Бунин пунктиром намечает «церковный» затекст Руси: «Солнце склонялось на запад, стало заходить в красивые легкие облака, смягчая синь за дальними извалами полей и бросая к закату, где небо уже золотилось, великие светлые столпы, как *пишут их на церковных картинах*» (выделено нами. — О. Б., Л. М.) [Бунин, 1966, т. V, с. 68].

Означенный мотив ненавязчиво дополняется библейскими образами п(П)астуха и паствы: «Стадо овец серело впереди, старик-пастух с подпаском сидел на меже, навивая кнут...» [Бунин, 1966, т. V, с. 68].

Кажется, Бунин действительно создает образ благословенной земли, родины-России, благодатной и привольной.

Однако бунинский рассказ буквально с первых строк пробуждает систему эксплицированных и имплицированных контрастов: «мы шли... *а* они косили...» (противительный союз, стилиевой контраст) [Бунин, 1966, т. V, с. 68], «наши — не наши» (лексический контраст) [Бунин, 1966, т. V, с. 68], «Казалось, что нет, да никогда и не было, ни времени, ни деления его на века, на годы...» (*казалось...* но деление на века и годы было — скрытый семантический контраст). И все это вместе контурируется в диффузии русской паремии: «...в этой забытой — или благословенной — Богом стра-

не» [Бунин, 1966, т. V, с. 68]. Два русских фразеологизма: «забытая Богом» страна и «благословенная Богом» — даны Буниным в наложении-смешении, тем самым в обозначении равнозначности одного и другого начала: и забытая, и благословенная Россия-родина. Некрасовско-блоковские интертекстуальные знаки-образы, знаки-мотивы, знаки-антонимы проступают в представлении о бунинской России.

3.2. Остраненный образ косцов-батраков

В стратегии биполярности выписывается Буниным и образ косцов. На первый взгляд кажется, что косцы-рязанцы вызывают восхищение автора-рассказчика — и своей страстью к работе, и мощью-свободой, и глубиной души, изливающейся в песне. «И они были беззаботны, дружны, как бывают люди в дальнем и долгом пути, на отдыхе от всех семейных и хозяйственных уз, были “охочи к работе”, неосознанно радуясь ее красоте и спорости» [Бунин, 1966, т. с. 69].

Однако, если вдуматься в смысл используемых Буниным сравнений, приложимых к косцам, становится ясно, что однозначности в их образе нет. Рассказчик передает свои впечатления: «Неделю тому назад они косили в ближнем от нас лесу, и я видел, проезжая верхом, как они заходили на работу, пополудновавши: они пили из деревянных жбанов родниковую воду, — так долго, так сладко, как пьют только звери да хорошие, здоровые русские батраки...» [Бунин, 1966, т. V, с. 69].

Обращает на себя внимание сравнение косцов со зверями и название их батраками. Эпитет «так сладко» рядом с лексемой *звери* вуалирует грубое зверино-животное начало образного сравнения. Эпитеты «здоровые русские» рядом с номинативом *батраки* отвлекают внимание от того, что Бунин использует лексему «батраки», хотя поэтическая корректность могла бы допустить использование словосочетания «здоровые русские *мужики*», не нарушающего ритмико-стилевой гармонии. В этом смысловом контексте слово «батраки» (как и «звери») обретает сниженный, уничижительный оттенок, внешне (сюжетно) не меняя сути повествования, но привнося в образ косцов некую «скрытую» пока составляющую.

Следующая важная характеристика, которая дана повествователем косцам, — это описание их ужина и приветливого хлебосольства.

Косцы «сидели на засвежевшей поляне возле потухшего костра, ложками таскали из чугуна куски чего-то розового. <...> И вдруг, приглядевшись, я с ужасом увидел, что то, что ели они, были страшные своим дурманом грибы-мухоморы. А они только засмеялись: — Ничего, они сладкие, чистая курятина!» [Бунин, 1966, т. V, с. 69].

Казалось бы, Бунин изображает обычную бытовую крестьянскую сценку. Однако он наполняет ее выразительными кодами контраста и анти-

тезы. Косцы *приветливо* пригласили барина поужинать, сопроводив приглашение пожеланием *доброго здоровья*, а тот *вдруг и с ужасом* увидел, что батраки ели ядовитые *мухоморы*. Если для рассказчика мухоморы ядовиты и *страшны своим дурманом*, то для гостеприимных косцов *они сладкие, чистая курятина*. Несмотря на то что, по словам этнографа Г. И. Попова, в Орловской, Ярославской, Вологодской губерниях русские мужики действительно употребляли в пищу мухоморы [Попов, 1903, с. 297—298], однако сравнение *чего-то розового* с курятиной выглядит не только странным, но и пугающе страшным, особенно в контексте акционального глагольного маркера *засмеялись*.

У авторитетного исследователя И. А. Есаулова эта сцена не вызывает отклика в связи с ее острающими и снижающими коннотациями, но порождает размышления о несовпадении точек зрения автора и рассказчика: «Можно предположить, что если страшные (для рассказчика) мухоморы на самом деле являются сладкими для косцов, то и сладкое, как представляется рассказчику, оплакивание себя в песне косцами также может и не быть таковым» [Есаулов, 2011, с. 403]. Итоговое умозаключение ученого может быть принято, но И. А. Есаулов уходит от вопроса о том, почему же Бунин утаивает «собственный смысл действия», почему «непроясненность тайны» в картине ужина сохраняется. Образ косцов для И. А. Есаулова безапелляционно целен.

Примерно в той же сдержанной манере касается сцены ужина косцов и исследователь Е. Р. Пономарев. Он, правда, отмечает алогизм происходящего: «Фольклорный эпизод разорван неподобающей деталью, но косцы предлагают как бы не замечать разорванного канона» [Пономарев, 2016, с. 45] — и ограничивается только констатацией «отрицательных коннотаций», те же «вопросы остаются без ответа» [Пономарев, 2016, с. 45].

Несколько иной подход демонстрирует С. Синицкая. В представлении современной писательницы, «Бунин обрамляет образ “мужика” романтическими, фольклорными узорами в духе Билибина <...>, однако “проговаривается” — и в читательском воображении (за всех не скажу, но в моём-то уж точно) симпатичная физиономия рязанского косца вдруг искажается ухмылкой ведьмака, судорогой шамана» [Синицкая, 2018]. Не нацеленная на анализ текста Бунина, прозаик, а не критик С. Синицкая быстро отходит от содержания рассказа и целиком погружается в размышления о психотропном действии мухоморов и их влиянии на сознание человека.

Между тем «тайнопись» бунинской сцены сохраняется и формирует противоречивость образа косцов, прогнозируя сдвинутость смыслов: заглавные герои начинают представлять то ли в образе русских богатырей, то ли сказочных разбойников.

Бунин как будто бы воспроизводит обычную сценку привычного ужина косцов, но в одном и том же абзаце, не меняя стилевой тональности и избегая абзачной табуляции, неожиданно вставляет фразу о косье батраков, как они собирались к месту работы «с белыми, блестящими, наведенными, как бритва, косами на плечах» и как «все враз, широко, играючи», шли и шли «вольной, ровной чередой» [Бунин, 1966, т. V, с. 69]. Соседство образно-метафорических сравнений *косы*, как *бритвы* и *играючи* порождает в сознании знающего русский фольклор реципиента уже не образ былинных богатырей, а действительно образ сказочных разбойников (напомним, герои у вечернего костра ужинают «чем-то розовым»). Избранная писателем речевая форма субстантивации прилагательного и использование неопределенной формы местоимения — *чем-то розовым* — аккумулируют в сцене батрачного ужина коннотации настороженности, угрозы и опасности, почти инфернальности.

Apropos: следует напомнить, что в русских народных сказках, в русском фольклоре, хорошо знакомом Бунину, грибами-мухоморами питаются исключительно Баба Яга и всякая лесная нечисть.

На этом «остраненном» фоне — прежде казавшиеся случайными «оговорками» автора — совершенно иначе воспринимаются такие обороты-характеристики косцов, как «они <...> подвигались по березовому лесу, *бездумно лишая* его густых трав и цветов» [Бунин, 1966, т. V, с. 69]. Чуть ранее о лесе, в котором косили батраки-разбойники: «Они косили и пели, и весь березовый лес, *еще не утративший* густоты и свежести, *еще полный* цветов и запахов, звучно откликался им» [Бунин, 1966, т. V, с. 68]. Компрессия негативных смыслов усиливается, семантическая перекодировка нарастает.

Автор на внешнем уровне словно бы восхищается богатyrством косцов, но на уровне внутреннем поддерживает чувство тревоги и опасности, исходящее от батраков, контрастно означенных как *не-наши*, затекстово актуализируя атмосферу трагизма свершившихся (или тогда еще готовившихся) исторических событий. Любимый русской интеллигенцией (и автором-рассказчиком) народ уже копил-таил в себе угрозу, которая отражалась в кумаче пока еще не революционного знамени, но мужицких разбойничьих рубах с «*кумачовыми* воротами и *такими же* <кумачовыми> ластовицами» [Бунин, 1966, т. V, с. 69]. Затекстовая визуализация исторического времени достигается через, казалось бы, незаметную деталь, через семантизацию портретирующего эпитета.

В подобном контексте малооправданной и несколько произвольной выглядит попытка исследователя И. С. Урюпина наделить образ косцов «сакральной семантикой» [Урюпин, 2015, с. 220]. Ученый отталкивается от наблюдения А. Н. Афанасьева о том, что, «по русскому поверью, путь

в небесные владения охраняют косари» [Афанасьев, 1995, т. 1, с. 9], и на этом «профессиональном» (по роду занятия) основании стремится вы-явить в рассказе Бунина «буквальный и символический смысл самого дей-ства — косьбы, традиционно вызывавшего у русского человека благостные чувства» [Урюпин, 2015, с. 220]. По мысли И. С. Урюпина, «не случайно бунинские косцы, празднично одетые, выполняют свою нелегкую работу, как будто совершают священный обряд...» [Урюпин, 2015, с. 220]. Однако, во-первых, исследователь упускает тот факт, что область «сакральности» афанасьевских косцов смыкается прежде всего со смертью (ср. «костявая с косой» [Афанасьев, 1995, т. 3, с. 103]), а во-вторых, причастность к кось-бе не делает всех косарей сакральными персонажами. В случае с Буни-ным — скорее наоборот. Ранее уже заходила речь о «бездумной» косьбе батраков («*бездумно* лишая его <лес> густых трав и цветов» [Бунин, 1966, т. V, с. 69]) — однако елецкий исследователь акцентирует иное: «состояние благоговения перед природой, в котором пребывают косцы...» [Урюпин, 2015, с. 220]. На наш взгляд, инерция восприятия образа бунинских косцов обедняет интересный и эмотивно напряженный бунинский текст.

3.3. Песенная стихия рассказа

Но как бы то ни было, из эмигрантского далёка Бунин, кажется, стре-мится осознать «дивную прелесть» песни его косцов и попытаться выра-зить ее очарование. «Прелесть ее была в откликах, в звучности березового леса. Прелесть ее была в том, что никак не была она сама по себе: она была связана со всем, что видели, чувствовали и мы, и они, эти рязанские косцы. Прелесть была в том несознаваемом, но кровном родстве, которое было между ими и нами» [Бунин, 1966, т. V, с. 70—71]. Анафорический зачин, отмеченный словом *прелесть*, 7 раз повторяющимся в трех соседних абза-цах, способствует созданию образа благословенной страны, рая на земле, родины-России, образ которой воспроизводится через песенный текст. При этом *прелесть* мужицкой песни не локализуется в пределах определенного хроноса и топоса, она по сути своей вневременная (*всегда*), потому много-значная, смыслоемкая, в конечном счете — мифологизированная.

Действительно, на первом хронотопическом уровне наррации Бунин как будто бы воспроизводит реально запомнившуюся герою-рассказчику песню русских косцов. Однако на втором уровне хронотопа, в условиях парижской эмиграции, воссоздавая дух народной песни, Бунин уже пропе-вает эту песню не от лица косцов, но эмигрантов. Прямого отождествления нет, но зонирование голосов на синтаксическом уровне стирается: мастер-ски «упуская» теперь существительное «косцы» и используя местоимение «они», автор фактически переходит на «мы», передавая посредством песни сегодняшние мысли и чувства парижской «ноты» русской эмиграции, ис-

пользуя в песенном тексте образ возлюбленной как метонимическое замещение (в унисон нелюбимому им Блоку) образа любимой=родины. Смена субъектной перспективы осуществляется незаметно, но последовательно:

«Конечно, они “прощались, расставались” и с “родимой сторонущкой”, и со своим счастьем, и с надеждами, и с той, с кем это счастье соединялось:

Ты прости-прощай, любезный друг,
И, родимая, ах да прощай, сторонущка! —

говорили, вздыхали они каждый по-разному, с той или иной мерой грусти и любви, но с одинаковой беззаботно-безнадежной укоризной...» [и т. д.; Бунин, 1966, т. V, с. 71].

Соседство (на первый взгляд, нейтральных) оборотов «прощались, расставались», «позабудешь», «пожалеешь», «гибель», «судьба», «родимая сторонущка» (и др.) позволяет судить об эмоциональной и медитативной близости песни косцов думам самого рассказчика-эмигранта и чувствам его парижских слушателей и читателей.

NB: ср. точку зрения И. А. Есаулова, который полагает, что речь идет о сближении совсем иного рода: «В последнем “мы” вновь соединяются — и уже окончательно <...> прежнее “мы” (орловские слушатели) и “они” (рязанские мужики)» [Есаулов, 2011, с. 404].

Заметим, что, хотя исследователи настойчиво подчеркивают (= констатируют) народный характер песни, воспроизводимой или «цитируемой» Буниным в рассказе [напр., Урюпин, 2015, с. 220—221], нам найти исторически подлинный вариант песни «Ты прости-прощай, любезный друг» не удалось. Все песни с подобным названием, исполняемые фольклорными коллективами, существенно отличаются от текста Бунина. Более того, Елецкий фольклорный ансамбль «Сустреча» (рук. О. Коренева) исполняет эту песню с указанием: «Текст песни из рассказа И. Бунина “Косцы”» [Мало спеть..., 2020], вероятно, не найдя фольклорного инварианта среди песенного репертуара на родине писателя. Последнее позволяет предположить, что Бунин либо умело стилизовал собственный текст под народный, либо совершил серьезную переработку неизвестного нам текста — согласно идее рассказа и его сюжетной полихромности. В любом случае, воспроизводя в рассказовом виде песню косцов, Бунин «сладко оплакива<л> себя» [Бунин, 1966, т. V, с. 72] и судьбу целого поколения эмигрантов, безжалостно отторгнутых от благословенной России.

Однако если оплакивание в песне косцов было не-настоящим: «Но не плачут сладко и не поют своих скорбей те, которым и впрямь нет нигде ни пути, ни дороги. “Ты прости-прощай, родимая сторонущка!” — говорил

человек — и знал, что все-таки нет ему подлинной разлуки с нею, с родиной, что куда бы ни забросила его доля, все будет над ним родное небо, а вокруг — беспредельная родная Русь, гибельная для него, балованного, разве только своей свободой, простором и сказочным богатством» [Бунин, 1966, т. V, с. 71—72], — то в ситуации «наших и ненаших», в частности за рубежом, в тексте (а точнее в подтексте) прочитывается мысль о *настоящности* гибели русской эмиграции и подлинности трагизма ее прощания с Русью, звучит горько-отчаянный мотив окончательной разлуки изгнанников с отеческой землей. В тексте рассказа осуществляется хронотопическая, но по сути своей *экзистенциальная* переориентация.

3.4. Композиционная многослойность рассказа

К финалу рассказа «Косцы» второй — подтекстовый — план повествования по существу становится первым, точка отсчета (эпицентр восприятия) смещается в эмигрантское далёко.

Если русский крестьянин вздыхал: «“Закатилось солнце красное за темные леса, ах, все пташки приумолкли, все садились по местам!” Закатилось мое счастье...», — то, по словам автора-рассказчика, тот все-таки вздыхал и чувствовал: «...так кровно близок он с этой глушью, живой для него, девственной и преисполненной волшебными силами, что всюду есть у него приют, ночлег, есть чье-то заступничество, чья-то добрая забота...» [Бунин, 1966, т. V, с. 72]. Если крестьянину чей-то голос шептал: «Не тужи, утро вечера мудренее, для меня нет ничего невозможного, спи спокойно, дитятко!», если «из всяческих бед, по вере его, выручали его птицы и звери лесные, царевны прекрасные, премудрые и даже сама Баба-Яга, жалевшая его “по его младости”» [Бунин, 1966, т. V, с. 72], то для рассказчика, писателя-эмигранта и его читателей-эмигрантов эта *сказочная* работа потеряна навсегда.

В финале рассказа антитетичная двуплановость повествования — *мы // они, наши // не наши* — выявляет подлинное разбойническое начало русского народа, когда пугающе острые косы и опасное поигрывание ими контурируется в уже очевидных (не метафорических, но лексически означенных) «посвистах удалых, ножах острых, горячих...» [Бунин, 1966, т. V, с. 72]. Кумачовые воротники и ластовицы закономерно трансформируются в затекстовые кумачовые знамена и форменные лампасы периода Гражданской войны, обретают почти визуальный абрис. Система бинарных оппозиций достигает своего апогея.

Третий хронотопический пласт, с первых строк введенный в проблемное поле рассказа и растворенный в тексте, к концу повествования приобретает отчетливые рельефные черты и у Бунина, как уже было сказано, воплощается в формах сказки и мифа. Если первый — сюжетный пласт косцов — реален, предметен, почти тактилен, если второй — ментально-меди-

тативный, условно эмигрантский — прочитывается и эксплицируется в том числе посредством фиксации места и даты написания рассказа («Париж, 1921»), то третий — как сказано у Бунина, *всегда* или *никогда* — актуализируется в сконцентрированных в заключающих рассказ абзацах сказочно-фольклорных образах и мотивах, национальных ментефактах: «Были <...> ковры-самолеты, шапки-невидимки, текли реки молочные, таились клады самоцветные, от всех смертных чар были ключи вечно живой воды, знал он молитвы и заклания, чудодейные <...>, улетал из темниц, скинувшись ясным соколом, о сырую Землю-Мать ударившись, заступали его от лихих соседей и ворогов дебри дремучие, черные топи болотные, пески летучие...» [Бунин, 1966, т. V, с. 72]. Традиционные константы фольклорных образов не только расширяют пространство рассказового повествования, но и поэтически маркируют нравственно-этические координаты русского мира.

Примечательно, что Бунину и прежде было свойственно характеризовать стремительные процессы в жизни России эпитетом «сказочно». В «Окаянных днях» об Одессе: «Какие *сказочные* перемены с тех пор!» [Бунин, 1991, с. 19]. В «Миссии русской эмиграции»: «Россия цвела, росла, со *сказочной* быстротой развивалась и видоизменялась во всех отношениях...» [Бунин, 1998, с. 193]. То есть в бунинском восприятии Россия искони была *сказочной* страной. Но в рассказе «Косцы» бунинская *сказка*, сказочно-мифологическое *всегда* (в последнем абзаце особенно отчетливо) сводится к сказочному же *никогда*, указывая на невозможность возвращения в прошлое (в самом прагматичном плане — в Россию), подобно тому как невозможно взрослому человеку всерьез поверить в реальность самой прекрасной сказки. Корреляты темы родины (бескрайние поля и просторы, высокие луговые травы, косцы-труженики, пылящая дорога, березовый лес и др.) меняют свой аспекттивный ракурс, ассоциативные цепочки разрываются. Вселенски бытийный пласт времени и места воплощается Буниным посредством фразеологических констант узнаваемой русской народной сказки, однако, по словам рассказчика, теперь «...*миновала* <...> для нас *сказка*: *отказались* от нас наши древние заступники, *разбежались* рыскающие звери, *разлетелись* вещие птицы, *свернулись* самобранные скатерти, *поруганы* молитвы и заклания, *иссохла* Мать-Сыра-Земля, *иссякли* животворные ключи — и настал *конец*, *предел* Божьему прощению» (выделено нами. — О. Б., Л. М.) [Бунин, 1966, т. V, с. 72].

«Конец» русской народной сказки — вопреки прежним ожиданиям — оказывается безвозвратным и трагичным. «Все фольклорные формулы перечеркнуты, а вместе с ними и прежняя Россия» [Пономарев, 2016, с. 45], — справедливо замечает критик. По Бунину (периода «Косцов»), пасхальность *не*-возможна, возрождение не наступит, о возвращении на

родину нельзя даже помыслить. На наш взгляд, именно такова доминантная интенция героя-повествователя (и автора) в рассказе «Косцы», ибо она в точности отвечает тем настроениям раздражения, боли и разочарования, которые переживал писатель в начале 1920-х годов, первоначально в Одессе и позже в Париже. Именно эти чувства диктовали Бунину инвективы «Окаянных дней» и «Миссии русской эмиграции».

В речи «Миссия русской эмиграции» Бунин публицистически прямо заявлял: «Миссия русской эмиграции, доказавшей своим исходом из России и своей борьбой, своими ледяными походами, что она не только за страх, но и за совесть не приемлет ленинских градов, ленинских заповедей, миссия эта заключается ныне в продолжении этого неприятия. <...> “Они не хотят ради России претерпеть большевика!” Да, не хотим <...> “Они не прислушиваются к голосу России!” <...> не так: мы очень прислушиваемся и — ясно слышим все еще тот же и все еще преобладающий голос хама, хищника...» [Бунин, 1998, с. 193]. И если в «Миссии...» писатель-публицист открыто говорит о «продолжении этого неприятия», то в рассказе «Косцы» те же мысли и чувства тонко вплетены в художественный нарратив.

Apropos: следует напомнить, что в «Окаянных днях» в записи от 2 марта 1919 года Бунин вспоминает о рассказе К. А. Тренёва «Батраки». «Читал новый рассказ Тренева (“Батраки”). Отвратительно. Что-то, как всегда теперь, насквозь лживое, рассказывающее о самых страшных вещах, но ничуть не страшное, ибо автор не серьезен, изнуряет “наблюдательностью” и такой чрезмерной “народностью” языка и всей вообще манеры рассказывать, что хочется плюнуть...» [Бунин, 1991, с. 15]. Можно предположить, что снижающая семантика слова-образа *батраки*, подтекстово проступающая в «Косцах», отчасти могла быть подпитана и воспоминанием об *отвратительном батраке* из рассказа *не-нашего* Тренёва, дешифруя негативность бунинского употребления словоформы.

В записи от 25 февраля того же года в «Окаянных днях» Бунин фиксирует наблюдение и о «рабочем народе» в Одессе: «Голоса утробные, первобытные. Лица <...> у мужчин, все как на подбор, преступные, иные прямо сахалинские. Римляне ставили на лица своих каторжников клейма: “Cave furem”. На эти лица ничего не надо ставить, — и без всякого клейма все видно...» [Бунин, 1991, с. 13].

Представляется, что в 1921 году в Париже эти впечатления писателя были еще весьма ярки и памятны.

4. Заключение = Conclusions

Таким образом, можно заключить, что *антипасхальность*, свойственная Бунину 1920-х годов, яростно высказывавшемуся против советской

России, и подкрепленная в 1921 году известием о смерти любимого брата, со всей несомненностью, на наш взгляд, отразилась в рассказе «Косцы», трансформировав ожидаемую (традиционную) дискурсивную направленность, сформировав сложную систему экзистенциального хронотопа, в котором трагически соединились прошлое и настоящее, знаменуя в грядущем «предел Божьего прощения» и *конец* сказочной Руси, которая «не вернется уже вовеки» [Бунин, 1966, т. V, с. 68]. Тернарная, трехуровневая композиционная структура рассказа позволяла эксплицировать различные аспекты эмоционально-ментального мировидения художника-эмигранта и в причудливых нарративных сплетениях передать неоднозначность и противоречивость субъективных модальных установок автора, его обостренно трагического на тот момент мироощущения и миропонимания.

Источники

1. Бунин И. А. Дневники / И. А. Бунин // Полное собрание сочинений : в 13 (16) томах. — Москва : Воскресенье, 2006—2007. — Т. 9. Воспоминания. Дневник (1917—1918 гг.). Дневники (1881—1953 гг.). — 542 с.
2. Бунин И. А. Миссия русской эмиграции / И. А. Бунин // Публицистика 1918—1953 гг. — Москва : Наследие, 1998. — 635 с. — ISBN 5-201-1326-6.
3. Бунин И. А. Окаянные дни. Дневник писателя 1918—1919 гг. / И. А. Бунин. — Ленинград : Азъ, 1991. — 68 с.
4. Бунин И. А. Собрание сочинений : в 9 томах / И. А. Бунин. — Москва : Художественная литература, 1966.

Литература

1. Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу : опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с мифическими сказаниями других родственных народов : в 3 томах / А. Н. Афанасьев. — Москва : Советский писатель, 1995. — 25 см. — ISBN 5-265-03305-x.
2. Богданова О. А. Семиотика аллеи, «где кружат листья» : Тургенев, Гумилев, Бунин / О. А. Богданова // Проблемы исторической поэтики. — 2019. — Т. 17. — № 2. — С. 233—254. — DOI: 10.15393/j9.art.2019.6542.
3. Есаулов И. А. Культурное бессознательное и воскресение России / И. А. Есаулов // Проблемы исторической поэтики. — 2011. — № 9. — С. 390—407.
4. Захаров В. Н. Пасхальный рассказ как жанр русской литературы / В. Н. Захаров // Проблемы исторической поэтики. — 1994. — № 3. — С. 249—261.
5. Зубков В. А. Рассказ особого назначения («Косцы») И. А. Бунина в школьном литературоведении / В. А. Зубков // Вестник ПГГПУ. — 2017. — № 1. — С. 78—82.
6. Климова Г. П. Выражение русского в творчестве И. А. Бунина / Г. П. Климова // И. А. Бунин и мировой литературный процесс / редкол. : Е. А. Михеичева и др. — Орел : [б. и.], 2000. — С. 13—16.
7. Мало спеть, главное — как! [Электронный ресурс]. — 2020. — Режим доступа : https://vk.com/wall-192178504_10 (дата обращения июль 2022).
8. Пономарев Е. Р. Концепт «Отечество» в культурном сознании русской эмиграции 1920-х гг. / Е. Р. Пономарев // Вестник СПбГУКИ. — 2016. — № 1 (26). — С. 40—47.

9. Попов Г. И. Русская народно-бытовая медицина / Г. И. Попов. — Санкт-Петербург : Типография А. С. Суворина, 1903. — 404 с.

10. Синицкая С. Бунин, Достоевский, мухоморы и белена [Электронный ресурс] / С. Синицкая. — 2018. — Режим доступа : <https://polka.academy/materials/722> (дата обращения июль 2022).

11. Урюпин И. С. «Косцы» И. А. Бунина и «Косари» С. С. Бехтеева : плач об утраченной родине / И. С. Урюпин // Сибирский филологический журнал. — 2015. — № 2. — С. 218—222.

Material resources

Bunin, I. A. (1966). *Collected works: in 9 volumes*. Moscow: Fiction. (In Russ.).

Bunin, I. A. (1991). *Cursed Days. Diary of a writer of 1918—1919*. Leningrad: Az. 68 p. (In Russ.).

Bunin, I. A. (2006—2007). Diaries. In: *Complete works: in 13 (16) volumes, 9. Memoirs. Diary (1917-1918). Diaries (1881-1953)*: Moscow: Sunday. 542 p. (In Russ.).

Bunin, I. A. (1998). *The mission of Russian emigration. Journalism of 1918—1953*. Moscow: Heritage. 635 p. ISBN 5-201-1326-6. (In Russ.).

References

Afanashev, A. N. (1995). *Poetic views of the Slavs on nature: the experience of comparative study of Slavic traditions and beliefs in connection with the mythical tales of other related peoples: in 3 volumes*. Moscow: Soviet Writer. 25 cm. ISBN 5-265-03305-H. (In Russ.).

Bogdanova, O. A. (2019). Semiotics of the alley, “where the leaves are circling”: Turgenev, Gumilev, Bunin. *Problems of Historical Poetics*, 17 (2): 233—254. DOI: 10.15393/j9.art.2019.6542. (In Russ.).

Esaulov, I. A. (2011). Cultural unconscious and resurrection of Russia. *Problems of historical poetics*, 9: 390—407. (In Russ.).

It's not enough to sing, the main thing is how! (2020). Available at: https://vk.com/wall-192178504_10 (accessed July 2022). (In Russ.).

Klimova, G. P. (2000). The expression of Russian in the works of I. A. Bunin. In: *I. A. Bunin and the world literary process*. Eagle: [b. i.]. 13—16. (In Russ.).

Ponomarev, E. R. (2016). The concept of “Fatherland” in the cultural consciousness of the Russian emigration of the 1920s. *Bulletin of SPbGUKI*, 1 (26): 40—47. (In Russ.).

Popov, G. I. (1903). *Russian folk medicine*. St. Petersburg: A. S. Suvorin Printing House. 404 p. (In Russ.).

Sinitskaya, S. (2018). *Bunin, Dostoevsky, fly agarics and henbane*. Available at: <https://polka.academy/materials/722> (accessed July 2022). (In Russ.).

Uryupin, I. S. (2015). “Mowers” I. A. Bunin and “Mowers” S. S. Bekhteeva: crying about the lost homeland. *Siberian Philological Journal*, 2: 218—222. (In Russ.).

Zakharov, V. N. (1994). Easter story as a genre of Russian literature. *Problems of historical poetics*, 3: 249—261. (In Russ.).

Zubkov, V. A. (2017). The story of a special purpose (“Mowers” by I. A. Bunin in school literary studies). *Bulletin of PGGPU*, 1: 78—82. (In Russ.).

Статья поступила в редакцию 16.07.2022,
одобрена после рецензирования 15.09.2022,
подготовлена к публикации 25.09.2022.